

# ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С—м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К—ну мосту.

Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь открытой на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.

Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обиденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти пристаивания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать, — нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.

Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.

«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! — подумал он с странною улыбкой. — Гм... да... всё в руках человека, и всё-то он мимо носу пронесит, единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся... А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа но целым суткам в углу и думая... о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на *это*? Разве *это* серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»

На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, — всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшие, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытьё, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел.

Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих срединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопило в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость,

он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться... А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадию, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» — и заорал во всё горло, указывая на него рукой, — молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его.

«Я так и знал! — бормотал он в смущении, — я так и думал! Это уж всего сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, слишком приметная шляпа... Смешная, потому и приметная... К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят... главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее... Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и губят всегда и всё...»

Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размышлялся. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начал смотреть иначе и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, «безобразную» мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать *пробу* своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало всё сильнее и сильнее.

С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к огромнейшему дому, выходящему одною стеною на канаву, а другою в —ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками — портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили

три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, «черная», но он всё уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен. «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если бы и действительно как-нибудь случилось до самого *дела* дойти?..» — подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник: «Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо... на всякой случай...» — подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти всё такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил... Он так и вздрогнул, слишком уж ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилища оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но, увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которою была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверхено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость.

— Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, — поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее.

— Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, — отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.

— Так вот-с... и опять, по такому же дельцу... — продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи.

«Может, впрочем, она и всегда такая, да я в тот раз не заметил», — подумал он с неприятным чувством.

Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед:

— Пройдите, батюшка.

Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» — как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он всё в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выпнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках, — вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Всё было очень чисто: и мебель, и полы были оттерты под лоск; всё блестело. «Лизаветина работа», — подумал молодой человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. «Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота», — продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую, крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат.

— Что угодно? — строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо.

— Заклад принес, вот-с! — И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная.

— Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул.

— Я вам проценты еще за месяц внесу; потерпите.  
— А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать.

— Много ль за часы-то, Алена Ивановна?

— А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колючку вам прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно.

— Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу.

— Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с.

— Полтора рубля! — вскрикнул молодой человек.

— Ваша воля. — И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти; но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он еще и за другим пришел.

— Давайте! — сказал он грубо.

Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть, верхний ящик, — соображал он. — Ключи она, стало быть, в правом кармане носит... Все на одной связке, в стальном кольце... И там один ключ есть всех больше, втрое, с зубчатою бородкой, конечно, не от комода... Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка али укладка. Вот это любопытно. У укладок всё такие ключи... А впрочем, как это подло всё...»

Старуха воротилась.

— Вот-с, батюшка: коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтется с вас пятнадцать копеек, за месяц вперед-с. Да за два прежних рубля с вас еще причтается по сему же счету вперед двадцать копеек. А всего, стало быть, тридцать пять. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль пятнадцать копеек. Вот получите-с.

— Как! так уж теперь рубль пятнадцать копеек!

— Точно так-с.

Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно...

— Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях, еще одну вещь принесу... серебряную... хорошую... папиросочницу одну... вот как от приятеля ворочу... — Он смутился и замолчал.

— Ну тогда и будем говорить, батюшка.

— Прощайте-с... А вы всё дома одни сидите, сестрицы-то нет? — спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю.

— А вам какое до нее, батюшка, дело?

— Да ничего особенного. Я так спросил. Уж вы сейчас... Прощайте, Алена Ивановна!

Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это всё более и более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул:

«О боже! как это всё отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! — прибавил он решительно. — И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц...»

Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей, как раз в эту минуту, выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу, за липким столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Тотчас же всё отлегло, и мысли его прояснили. «Всё это вздор, — сказал он с надеждой, — и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, — и вот, в один миг, крепнет ум, яснее мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое всё это ничтожество!..» Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная.



В распивочной на ту пору оставалось мало народу. Кроме тех двух пьяных, что попались на лестнице, вслед за ними же вышла еще разом целая ватага, человек в пять, с одною девкой и с гармонией. После них стало тихо и просторно. Остались: один хмельной, но немного, сидевший за пивом, с виду мещанин; товарищ его, толстый, огромный, в сибирке и с седою бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке и изредка, вдруг, как бы спросонья, начинавший прищелкивать пальцами, расставив руки врозь, и подпрыгивать верхнюю частию корпуса, не вставая с лавки, причем подпевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи, вроде:

Целый год жену ласкал,  
Цел-лый год же-ну лас-кал...

Или вдруг, проснувшись, опять:

По Подъяческой пошел,  
Свою прежнюю нашел...

Но никто не разделял его счастья; молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы даже враждебно и с недоверчивостью. Был тут и еще один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо, перед своею посудинкой, изредка отпивая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении.

## II

Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хоть бы в каком бы то ни было, и, несмотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной.

Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее откуда-то по ступенькам, причем прежде всего выказывались его щегольские смазные сапоги с большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука, а всё лицо его

было как будто смазано маслом, точно железный замок. За застойкой находился мальчишка лет четырнадцати, и был другой мальчишка, моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба; всё это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и всё до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут сделать пьяным.

Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отекившим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, — пожалуй, был и смысл и ум, — но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо желая не удаляться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно-чиновничье. Но он был в беспорядке, ерошил волосы и подпирал иногда, в тоске, обеими руками голову, положила продранные локти на залитый и липкий стол. Наконец он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил:

— А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов — такая фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?

— Нет, учусь... — отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным витиеватым тоном речи, и тем, что так прямо, в упор, обратились к нему. Несмотря на недавнее мгновенное желание хотя какого бы ни было сообщества с людьми, он при первом, действительно обращенном к нему слове вдруг ощутил свое обычное неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности.

— Студент, стало быть, или бывший студент! — вскричал чиновник, — так я и думал! Опыт, милостивый государь, неоднократно! — И в знак похвалы он приложил палец ко лбу. — Были студентом или происходили ученую часть! А позвольте... — Он привстал, покачнулся, захватил свою посудинку, стаканчик, и подсел к молодому человеку, несколько от него наискось. Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, изредка только местами сбиваясь немного и затягивая речь. С какою-то даже жадностью накинулся он на Раскольников, точно целый месяц тоже ни с кем не говорил.

— Милостивый государь, — начал он почти с торжественностию, — бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное! Милостивый государь, месяц назад тому супругу мою избил господин Лебезятников, а супруга моя не то что я! Понимаете-с? Позвольте еще вас спросить, так, хотя бы в виде простого любопытства: изволили вы ночевать на Неве, на сенных барках?

— Нет, не случилось, — отвечал Раскольников. — Это что такое?

— Ну-с, а я оттуда, и уже пятую ночь-с...

Он налил стаканчик, выпил и задумался. Действительно, на его платье и даже в волосах кое-где виднелись прилипшие былинки сена. Очень вероятно было, что он пять дней не раздевался и не умывался. Особенно руки были грязны, жирные, красные, с черными ногтями.

Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое внимание. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошел из верхней комнаты, чтобы послушать «забавника», и сел поодаль, лениво, но важно позевывая. Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен. Да и склонность к витиеватой речи приобрел, вероятно, вследствие привычки к частым кабачным разговорам с различными незнакомцами. Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность, и преимущественно у тех из них, с которыми дома обходятся строго и которыми помыкают. Оттого-то в пьющей компании они и стараются всегда как будто выхлопотать себе оправдание, а если можно, то даже и уважение.

— Забавник! — громко проговорил хозяин. — А для ча не работаешь, для ча не служите, коли чиновник?

— Для чего я не служу, милостивый государь, — подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал вопрос, — для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне? Когда господин Лебезятников, тому месяц назад, супругу мою собственноручно избил, а я лежал пьяненькой, разве я не страдал? Позвольте, молодой человек, случалось вам... гм... ну хоть испрашивать денег займы безнадежно?

— Случалось... то есть как безнадежно?

— То есть безнадежно вполне-с, заранее зная, что из сего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наиполезнейший гражданин, ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял наперед, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия. Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и...

— Для чего же ходить? — прибавил Раскольников.

— А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти.

Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти! Когда однородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел... (ибо дочь моя по желтому билету живет-с...) — прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. — Ничего, милостивый государь, ничего! — поспешил он тотчас же, и по-видимому спокойно, заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и улыбнулся сам хозяин. — Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем всё известно и всё тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! пусть! «Се человек!» Позвольте, молодой человек: можете ли вы... Но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее: не *можете* ли вы, а *осмелитесь* ли вы, смотря в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?

Молодой человек не отвечал ни слова.

— Ну-с, — продолжал оратор, солидно и даже с усиленным на этот раз достоинством переждав опять последовавшее в комнате хихикание. — Ну-с, я пусть свинья, а она дама! Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, — особа образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого, и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена. А между тем... о, если б она пожалела меня! Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели! А Катерина Ивановна дама хотя и великодушная, но несправедливая... И хотя я и сам понимаю, что когда она и вихры мои дерет, то дерет их не иначе как от жалости сердца (ибо, повторяю без смущения, она дерет мне вихры, молодой человек, — подтвердил он с сугубым достоинством, услышав опять хихиканье), но, боже, что, если б она хотя один раз... Но нет! нет! всё сие втуне, и нечего говорить! нечего говорить!.. ибо и не один раз уже бывало желаемое, и не один уже раз жалели меня, но... такова уже черта моя, а я прирожденный скот!

— Еще бы! — заметил, зевая, хозяин.

Мармеладов решительно стукнул кулаком по столу.

— Такова уж черта моя! Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки ее пропил-с! Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил, дареную, прежнюю, ее собственную, не мою; а живем мы в холодном угле, и она

в эту зиму простудилась и кашлять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас трое, и Катерина Ивановна в работе с утра до ночи, скребет и моет и детей обмывает, ибо к чистоте с измалетства привыкла, а с грудью слабою и к чахотке наклонною, и я это чувствую. Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу. Не веселья, а единой скорби ищу... Пью, ибо сугубо страдать хочу! — И он, как бы в отчаянии, склонил на стол голову.

— Молодой человек, — продолжал он, восклоняясь опять, — в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочел ее, а потому тотчас же и обратился к вам. Ибо, сообщая вам историю жизни моей, не на позорище себя выставить хочу перед сими празднолюбцами, которым и без того всё известно, а чувствительного и образованного человека ищу. Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила. Медаль... ну медаль-то продали... уж давно... гм... похвальный лист до сих пор у ней в сундуке лежит, и еще недавно его хозяйке показывала. И хотя с хозяйкой у ней наибеспрерывнейшие раздоры, но хоть перед кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях. И я не осуждаю, не осуждаю, ибо сие последнее у ней и осталось в воспоминаниях ее, а прочее всё пошло прахом! Да, да; дама горячая, гордая и непреклонная. Пол сама моет и на черном хлебе сидит, а неуважения к себе не допустит. Оттого и господину Лебезятникову грубость его не захотела спустить, и когда прибил ее за то господин Лебезятников, то не столько от побоев, сколько от чувства в постель слегла. Вдовой уже взял ее, с троими детьми, мал мала меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви, и с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки пустился, под суд попал, с тем и помер. Бивал он ее под конец; а она хоть и не спускала ему, о чем мне доподлинно и по документам известно, но до сих пор вспоминает его со слезами и меня им корит, и я рад, я рад, ибо хотя в воображениях своих зрит себя когда-то счастливой... И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далеком и зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадежной, что я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии. Родные же все отказались. Да и горда была, чересчур горда...

И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. Можете судить потому, до какой степени ее бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная и фамилии известной, за меня согласилась пойти! Но пошла! Плача и рыдая, и руки ломая — пошла! Ибо некуда было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет! Этого вы еще не понимаете... И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято и не касался сего (он ткнул пальцем на полуштоф), ибо чувство имею. Но и сим не мог угодить; а тут места лишился, и тоже не по вине, а по изменению в штатах, и тогда прикоснулся!.. Полтора года уже будет назад, как очутились мы наконец, после странствий и многочисленных бедствий, в сей великолепной и украшенной многочисленными памятниками столице. И здесь я место достал... Достал и опять потерял. Понимаете-с? Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила... Проживаем же теперь в угле, у хозяйки Амалии Федоровны Липпевехзель, а чем живем и чем платим, не ведаю. Живут же там многие и кроме нас... Содом-с, безобразнейший... гм... да... А тем временем возросла и дочка моя, от первого брака, и что только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возрастая, о том я умалчиваю. Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздраженная, и оборвет... Да-с! Ну да нечего вспоминать о том! Воспитания, как и представить можете, Соня не получила. Пробовал я с ней, года четыре тому, географию и всемирную историю проходить; но как я сам в познании сем был некрепок, да и приличных к тому руководств не имелось, ибо какие имевшиеся книжки... гм!.. ну, их уже теперь и нет, этих книжек, то тем и кончилось всё обучение. На Кире Персидском оставились. Потом, уже достигнув зрелого возраста, прочла она несколько книг содержания романического, да недавно еще, через посредство господина Лебезятникова, одну книжку — «Физиологию» Льюиса, извольте знать-с? — с большим интересом прочла и даже нам отрывочно вслух сообщала: вот и всё ее просвещение. Теперь же обращаюсь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши! Да и то статский советник

Клопшток, Иван Иванович, — изволили слышать? — не только денег за шитье полдюжины голландских рубах до сих пор не отдал, но даже с обидой погнал ее, затопав ногами и обозвав неприлично, под видом будто бы рубашечный ворот сшит не по мерке и косяком. А тут ребятишки голодные... А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, — что в болезни этой и всегда бывает: «Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься», а что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят! Лежал я тогда... ну, да уж что! лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня (безответная она, и голосок у ней такой кроткий... белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: «Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?» А уж Дарья Францевна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, раза три через хозяйку навывалась. «А что ж, — отвечает Катерина Ивановна, в пересмешку, — чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле... Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть бы и с голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок (общий такой у нас платок есть, драдедамовый), накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать, лицом к стенке, только плечики да тело всё вздрагивают... А я, как и давеча, в том же виде лежал-с... И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись... обе... обе... да-с... а я... лежал пьяненькой-с.

Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресекался. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крикнул.

— С тех пор, государь мой, — продолжал он после некоторого молчания, — с тех пор, по одному неблагоприятному случаю и по



донесению неблагонамеренных лиц, — чему особенно способствовала Дарья Францевна, за то будто бы, что ей в надлежащем почтении манкировали, — с тех пор дочь моя, Софья Семеновна, желтый билет принуждена была получить и уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться. Ибо и хозяйка, Амалия Федоровна, того допустить не хотела (а сама же прежде Дарье Францевне способствовала), да и господин Лебезятников... гм... Вот за Соною-то и вышла у него эта история с Катериною Ивановной. Сначала сам добивался от Сонечки, а тут и в амбицию вдруг вошла: «Как, дескать, я, такой просвещенный человек, в одной квартире с таковскою буду жить?» А Катерина Ивановна не спустилась, вступилась... ну и произошло... И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки, и Катерину Ивановну облегает, и средства посылать доставляет... Живет же на квартире у портного Капернаумова, квартиру у них снимает, а Капернаулов хром и косноязычен, и всё многочисленнейшее семейство его тоже косноязычное. И жена его тоже косноязычная... В одной комнате помещаются, а Соня свою имеет особую, с перегородкой... Гм, да... Люди беднейшие и косноязычные... да... Только встал я тогда поутру-с, одел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу. Его превосходительство Ивана Афанасьевича изволите знать?.. Нет? Ну так божия человека не знаете! Это — воск... воск перед лицом Господним; яко тает воск!.. Даже прослезились, изволив всё выслушать. «Ну, говорит, Мармеладов, раз уже ты обманул мои ожидания... Беру тебя еще раз на личную свою ответственность, — так и сказали, — помни, дескать, ступай!» Облобызал я прах ног его, мысленно, ибо взаправду не дозволили бы, бывши сановником и человеком новых государственных и образованных мыслей; воротился домой, и как объявил, что на службу опять зачислен и жалование получаю, Господи, что тогда было!..

Мармеладов опять остановился в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, уже и без того пьяных, и раздалась у входа звуки нанятой шарманки и детский, надтреснутый семилетний голосок, певший «Хуторок». Стало шумно. Хозяин и прислуга занялись вошедшими. Мармеладов, не обращая внимания на вошедших, стал продолжать рассказ. Он, казалось, уже сильно ослаб, но чем более хмелел, тем становился словоохотнее. Воспоминания о недавнем успехе по службе как бы оживили его и даже отразились на лице его каким-то сиянием. Раскольников слушал внимательно.

— Было же это, государь мой, назад пять недель. Да... Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, Господи, точно я в Царствие Божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань! А ныне: на цыпочках ходят, детей унимают: «Семен Захарыч на службе устал, отдыхает, тш!» Кофеем меня перед службой поят, сливки кипятят! Сливки настоящих доставать начали, слышите! И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную, одиннадцать рублей пятьдесят копеек, не понимаю? Сапоги, манишки коленкоровые — великолепнейшие, вицмундир, всё за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем виде-с. Пришел я в первый день поутру со службы, смотрю: Катерина Ивановна два блюда сготовила, суп и солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней никаких... то есть никаких-с, а тут точно в гости собралась, приоделась, и не то чтобы что-нибудь, а так, из ничего всё сделать сумеют: причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький, нарукавнички, ан совсем другая особа выходит, и помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала, а самой, говорит, мне теперь, до времени, у вас часто бывать неприлично, так разве, в сумерки, чтобы никто не видал. Слышите, слышите? Пришел я после обеда заснуть, так что ж бы вы думали, ведь не вытерпела Катерина Ивановна: за неделю еще с хозяйкой, с Амалией Федоровной, последним образом перессорились, а тут на чашку кофею позвала. Два часа просидели и всё шептались: «Дескать, как теперь Семен Захарыч на службе и жалование получает, и к его превосходительству сам являлся, и его превосходительство сам вышел, всем ждать велел, а Семена Захарыча мимо всех за руку в кабинет провел». Слышите, слышите? «Я, конечно, говорит, Семен Захарыч, помня ваши заслуги, и хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабости, но как уж вы теперь обещаетесь, и что сверх того без вас у нас худо пошло (слышите, слышите!), то и надеюсь, говорит, теперь на ваше благородное слово», то есть всё это, я вам скажу, взяла да и выдумала, и не то чтоб из легкомыслия, для одной похвальбы-с! Нет-с, сама всему верит, собственными воображениями сама себя тешит, ей-богу-с! И я не осуждаю; нет, этого я не осуждаю!.. Когда же, шесть дней назад, я первое жалование мое — двадцать три рубля сорок копеек — сполна принес, малявочкой меня назвала: «Малявочка, говорит, ты эдакая!» И наедине-с, понимаете ли? Ну уж что, кажется, во мне за краса, и какой я супруг? Нет, ущипнула за щеку: «Малявочка ты эдакая!» — говорит.

Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак, развращенный вид, пять ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненным. Он досадовал, что зашел сюда.

— Милостивый государь, милостивый государь! — воскликнул Мармеладов, оправившись, — о государь мой, вам, может быть, всё это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостию всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей, ну а мне не в смех! Ибо я всё это могу чувствовать... И в продолжение всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих препровождал: и то есть как я это всё устрою, и ребятишек одену, и ей покой дам, и дочь мою единокровную от бесчестья в лоно семьи возвращу... И многое, многое... Позволиительно, сударь. Ну-с, государь ты мой (Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя), ну-с, а на другой же день, после всех сих мечтаний (то есть это будет ровно пять суток назад тому), к вечеру, я хитрым обманом, как тать в ночи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул что осталось из принесенного жалованья, сколько всего уж не помню, и вот-с, глядите на меня, все! Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние... и всему конец!

Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил:

— А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить! Хе-хе-хе!  
 — Неужели дала? — крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку.

— Вот этот самый полуштоф-с на ее деньги и куплен, — произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. — Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, всё что было, сам видел... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела... Так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют! А это больней-с, больней-с, когда не укоряют!.. Тридцать копеек, да-с. А ведь и ей теперь они нужны, а?

Как вы думаете, сударь мой дорогой? Ведь она теперь чистоту соблюдать должна. Денег стоит сия чистота, особая-то, понимаете? Понимаете? Ну, там помадки тоже купить, ведь нельзя же-с; юбки крахмальные, ботиночку эдакую, пофиглярнее, чтобы ножку выставить, когда лужу придется переходить. Понимаете ли, понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Ну-с, а я вот, кровный-то отец, тридцать-то эти копеек и стащил себе на похмелье! И пью-с! И уж пропил-с!.. Ну, кто же такого, как я, пожалеет? ась? Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет? Говорите, сударь, жаль али нет? Хе-хе-хе-хе!

Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштоф был пустой.

— Да чего тебя жалеть-то? — крикнул хозяин, очутившийся опять подле них.

Раздался смех и даже ругательства. Смеялись и ругались слушавшие и неслушавшие, так, глядя только на одну фигуру отставного чиновника.

— Жалеть! зачем меня жалеть! — вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутою вперед рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. — Зачем жалеть, говоришь ты? Да! меня жалеть не за что! Меня распяты надо, распяты на кресте, а не жалеть! Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и слез!.. Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф твой мне в сласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел; а пожалеет нас Тот, Кто всех пожалел и Кто всех и вся понимал, Он Единый, Он и Судия. Придет в тот день и спросит: «А где дочь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дочь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?» И скажет: «Прииди! Я уже простил тебя раз... Простил тебя раз... Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила много...» И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит... Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал!.. И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаго-

лят разумные: «Господи! почто сих приемлеш?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...» И прострет к нам руце свои, и мы припадем... и заплачем... и всё пойдем! Тогда всё пойдем!.. и все поймут... и Катерина Ивановна... и она поймет... Господи, да приидет Царствие Твое!

И он опустил на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторое впечатление; на минуту воцарилось молчание, но вскоре раздались прежний смех и ругательства:

— Рассудил!

— Заврался!

— Чиновник!

И проч., и проч.

— Пойдемте, сударь, — сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову, — доведите меня... Дом Козеля, на дворе. Пора... к Катерине Ивановне...

Раскольникову давно уже хотелось уйти; помочь же ему он и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Идти было шагов двести-триста. Смущение и страх всё более и более овладевали пьяницей по мере приближения к дому.

— Я не Катерины Ивановны теперь боюсь, — бормотал он в волнении, — и не того, что она мне волосы драть начнет. Что волосы!.. вздор волосы! Это я говорю! Оно даже и лучше, коли драть начнет, а я не того боюсь... я... глаз ее боюсь... да... глаз... Красных пятен на щеках тоже боюсь... и еще — ее дыхания боюсь... Видал ты, как в этой болезни дышат... при взволнованных чувствах? Детского плача тоже боюсь... Потому как если Соня не накормила, то... уж не знаю что! не знаю! А побоев не боюсь... Знай, сударь, что мне таковые побои не токмо не в боль, но и в наслаждение бывают... Ибо без сего я и сам не могу обойтись. Оно лучше. Пусть побьет, душу отведет... оно лучше... А вот и дом. Козеля дом. Слесаря, немца, богатого... веди!

Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем становилась темнее. Было уже почти одиннадцать часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но на верху лестницы было очень темно.

Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. Огарок освещал беднейшую комнату шагов в де-

сять длиной; всю ее было видно из сеней. Всё было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшие помещения или клетки, на которые разбивалась квартира Амалии Липпехель, была приотворена. Там было шумно и крикливо. Хохотали. Кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные.

Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и действительно с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами и неровно, прерывисто дышала. Глаза ее блестели как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо, при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет тридцати и действительно была не пара Мармеладову... Входящих она не слыхала и не заметила; казалось, она была в каком-то забытии, не слушала и не видела. В комнате было душно, но окна она не отворила; с лестницы несло воню, но дверь на лестницу была не затворена; из внутренних помещений, сквозь непритворенную дверь, неслись волны табачного дыма, она кашляла, но дверь не притворяла. Самая маленькая девочка, лет шести, спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом старше ее, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка, лет девяти, высокенькая и тоненькая как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом бурнусике, сшитом ей, вероятно, два года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею своею длиною, высохшею как спичка рукой. Она, кажется, унижала его, что-то шептала ему, всячески сдерживала, чтоб он как-нибудь опять не захныкал, и в то же время со страхом следила за

матерью своими большими-большими темными глазами, которые казались еще больше на ее исхудавшем и испуганном личике. Мармеладов, не входя в комнату, стал в самых дверях на коленки, а Раскольникова протолкнул вперед. Женщина, увидев незнакомого, рассеянно остановилась перед ним, на мгновение очнувшись и как бы соображая: зачем это он вошел? Но, верно, ей тотчас же представилось, что он идет в другие комнаты, так как ихняя была проходная. Сообразив это и не обращая уже более на него внимания, она пошла к санным дверям, чтобы притворить их, и вдруг вскрикнула, увидев на самом пороге стоящего на коленках мужа.

— А! — закричала она в исступлении, — воротился! Колодник! Изверг!.. А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! где твое платье? где деньги? говори!..

И она бросилась его обыскивать. Мармеладов тотчас же послушно и покорно развел руки в обе стороны, чтобы тем облегчить карманный обыск. Денег не было ни копейки.

— Где же деньги? — кричала она. — О господи, неужели же он всё пропил! Ведь двенадцать целковых в сундуке оставалось!.. — И вдруг, в бешенстве, она схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, смиренно ползя за нею на коленках.

— И это мне в наслаждение! И это мне не в боль, а в наслаждение, ми-ло-сти-вый го-су-дарь! — выкрикивал он, потрясаемый за волосы и даже раз стукнувшись лбом об пол. Спавший на полу ребенок проснулся и заплакал. Мальчик в углу не выдержал, задрожал, закричал и бросился к сестре в страшном испуге, почти в припадке. Старшая девочка дрожала со сна как лист.

— Пропил! всё, всё пропил! — кричала в отчаянии бедная женщина, — и платье не то! Голодные, голодные! (и, ломая руки, она указывала на детей). О, треклятая жизнь! А вам, вам не стыдно, — вдруг набросилась она на Раскольникова, — из кабака! Ты с ним пил? Ты тоже с ним пил! Вон!

Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из нее выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками, в ермолках. Виднелись фигуры в халатах и совершенно нараспашку, в летних до неприличия костюмах, иные с картами в руках. Особенно потешно смеялись они, когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что это ему в наслаждение. Стали даже входить в комнату, слышался, наконец,

зловещий визг: это продиралась вперед сама Амалия Липшевех-зель, чтобы произвести распорядок по-свойски и в сотый раз испугать бедную женщину ругательским приказанием завтра же очистить квартиру. Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже на лестнице он одумался и хотел было воротиться.

«Ну что это за вздор такой я сделал, — подумал он, — тут у них Соня есть, а мне самому надо». Но, рассудив, что взять назад уже невозможно и что все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошел на свою квартиру. «Соне помадки ведь тоже нужно, — продолжал он, шагая по улице, и язвительно усмехнулся, — денег стоит сия чистота... Гм! А ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкрутится, потому тот же риск, охота по красному зверю... золотопромышленность... вот они все, стало быть, и на бобах завтра без моих-то денег... Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!»

Он задумался.

— Ну а коли я соврал, — воскликнул он вдруг невольно, — коли действительно не *подлец* человек, весь вообще, весь род то есть человеческий, то значит, что остальное всё — предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..

### III

Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению: было три старых стула, не совсем исправных, крашенный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг; уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука; и, наконец, неуклюжая большая



софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях и служившая постелью Раскольникову. Часто он спал на ней так, как был, не раздеваясь, без простыни, покрываясь своим старым, ветхим, студенческим пальто и с одною маленькою подушкой в головах, под которую подкладывал всё что имел белья, чистого и заношенного, чтобы было повыше изголовье. Перед софой стоял маленький столик.

Трудно было более опуститься и обнеряшиться; но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу, и даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его комнату, возбуждало в нем желчь и конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его две недели как уже перестала ему отпускать кушанье, и он не подумал еще до сих пор сходить объясниться с нею, хотя и сидел без обеда. Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйкина, отчасти была рада такому настроению жильца и совсем перестала у него убирать и мести, так только, в неделю раз, нечаянно, бралась иногда за веник. Она же и разбудила его теперь.

— Вставай, чего спишь! — закричала она над ним, — десятый час. Я тебе чай принесла; хошь чайку-то? Поди отоцал?

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.

— Чай-то от хозяйки, что ль? — спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на софе.

— Како от хозяйки!

Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила два желтых кусочка сахара.

— Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, — сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и вытащив горсточку меди, — сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного, подешевле.

— Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи, вчерашние. Еще вчера тебе отставила, да ты пришел поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

— Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, — сказала она.

Он крепко поморщился.

— В полицию? Что ей надо?

— Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.

— Э, черта еще этого не доставало, — бормотал он, скрывая зубами, — нет, это мне теперь... некстати... Дура она, — прибавил он громко. — Я сегодня к ней зайду, поговорю.

— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?

— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.

— Что делаешь?

— Работу...

— Каку работу?

— Думаю, — серьезно отвечал он, помолчав.

Настасья так и покати́лась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.

— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.

— Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.

— А ты в колодезь не плюй.

— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям.

— А тебе бы сразу весь капитал?

Он странно посмотрел на нее.

— Да, весь капитал, — твердо отвечал он, помолчав.

— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?

— Как хочешь.

— Да, забыла! К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло.

— Письмо! ко мне! от кого?

— От кого, не знаю. Три копейки почтальону своих отдала. Отдашь, что ли?

— Так неси же, ради бога, неси! — закричал, весь в волнении, Раскольников, — Господи!

Через минуту явилось письмо. Так и есть: от матери, из Р-й губернии. Он даже побледнел, принимая его. Давно уже не полу-

чал он писем; но теперь и еще что-то другое вдруг сжало ему сердце.

— Настасья, уйди, ради бога; вот твои три копейки, только, ради бога, скорей уйди!

Письмо дрожало в руках его; он не хотел распечатывать при ней: ему хотелось остаться *наедине* с этим письмом. Когда Настасья вышла, он быстро поднес его к губам и поцеловал; потом долго еще вглядывался в почерк адреса, в знакомый и милый ему мелкий и косенький почерк его матери, учившей его когда-то читать и писать. Он медлил; он даже как будто боялся чего-то. Наконец распечатал: письмо было большое, плотное, в два лота; два большие почтовые листа были мелко-на мелко исписаны.

«Милый мой Родя, — писала мать, — вот уже два месяца с лишком как я не беседовала с тобой письменно, от чего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Но, наверно, ты не обвинишь меня в этом невольном моем молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя; ты один у нас, у меня и у Дуни, ты наше всё, вся надежда, упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет, за неимением чем содержать себя, и что уроки и прочие средства твои прекратились! Чем могла я с моими ста двадцатью рублями в год пенсии помочь тебе? Пятнадцать рублей, которые я послала тебе четыре месяца назад, я занимала, как ты и сам знаешь, в счет этого же пенсии, у здешнего нашего купца Афанасия Ивановича Вахрушина. Он добрый человек и был еще приятелем твоего отца. Но, дав ему право на получение за меня пенсии, я должна была ждать, пока выplatится долг, а это только что теперь исполнилось, так что я ничего не могла во всё это время послать тебе. Но теперь, слава богу, я, кажется, могу тебе еще выслать, да и вообще мы можем теперь даже похвалиться фортуной, о чем и спешу сообщить тебе. И во-первых, угадываешь ли ты, милый Родя, что сестра твоя вот уже полтора месяца как живет со мною, и мы уже больше не разлучимся и впредь. Слава тебе господи, кончились ее истязания, но расскажу тебе всё по порядку, чтобы ты узнал, как всё было и что мы от тебя до сих пор скрывали. Когда ты писал мне, тому назад два месяца, что слышал от кого-то, будто Дуня терпит много от грубости в доме господ Свидригайловых, и спрашивал от меня точных объяснений, — что могла я тогда написать тебе в ответ? Если б я написала тебе всю правду, то ты, пожалуй бы,

всё бросил и хоть пешком, а пришел бы к нам, потому я и характер и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою. Я же сама была в отчаянии, но что было делать? Я и сама-то всей правды тогда не знала. Главное же затруднение состояло в том, что Дунечка, вступив прошлого года в их дом гувернанткой, взяла вперед целых сто рублей, под условием ежемесячного вычета из жалованья, и, стало быть, и нельзя было место оставить, не расплатившись с долгом. Сумму же эту (теперь могу тебе всё объяснить, бесценный Родя) взяла она более для того, чтобы выслать тебе шестьдесят рублей, в которых ты тогда так нуждался и которые ты и получил от нас в прошлом году. Мы тебя тогда обманули, написали, что это из скопленных Дунечкиных прежних денег, но это было не так, а теперь сообщая тебе всю правду, потому что всё теперь переменялось внезапно, по воле Божией, к лучшему и чтобы ты знал, как любит тебя Дуня и какое у нее бесценное сердце. Действительно, господин Свидригайлов сначала обходился с ней очень грубо и делал ей разные неучтивости и насмешки за столом... Но не хочу пускаться во все эти тяжелые подробности, чтобы не волновать тебя напрасно, когда уж всё теперь кончено. Короче, несмотря на доброе и благородное обращение Марфы Петровны, супруги господина Свидригайлова, и всех домашних, Дунечке было очень тяжело, особенно когда господин Свидригайлов находился, по старой полковой привычке своей, под влиянием Бахуса. Но что же оказалось впоследствии? Представь себе, что этот сумасброд давно уже возымел к Дуне страсть, но всё скрывал это под видом грубости и презрения к ней. Может быть, он и сам стыдился и приходил в ужас, видя себя уже в летах и отцом семейства, при таких легкомысленных надеждах, а потому и злился неволью на Дуню. А может быть, и то, что он грубостию своего обращения и насмешками хотел только прикрыть от других всю истину. Но наконец не удержался и осмелился сделать Дуне явное и гнусное предложение, обещая ей разные награды и, сверх того, бросить всё и уехать с нею в другую деревню или, пожалуй, за границу. Можешь представить себе все ее страдания! Оставить сейчас место было нельзя, не только по причине денежного долга, но и щадя Марфу Петровну, которая могла бы вдруг возыметь подозрения, а следовательно, и пришлось бы поселить в семействе раздор. Да и для Дунечки был бы большой скандал; уж так не обошлось бы. Были тут и многие разные причины, так что раньше шести недель Дуня никак не могла рассчитывать вы-

рваться из этого ужасного дома. Конечно, ты знаешь Дуню, знаешь, как она умна и с каким твердым характером. Дунечка многое может сносить и даже в самых крайних случаях найти в себе столько великодушия, чтобы не потерять своей твердости. Она даже мне не написала обо всем, чтобы не расстроить меня, а мы часто пересылались вестями. Развязка же наступила неожиданная. Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и, поняв всё превратно, во всем ее же и обвинила, думая, что она-то всему и причиной. Произошла у них тут же в саду ужасная сцена: Марфа Петровна даже ударила Дуню, не хотела ничего слушать, а сама целый час кричала и, наконец, приказала тотчас же отвезти Дуню ко мне в город, на простой крестьянской телеге, в которую сбросили все ее вещи, белье, платья, всё как случилось, неувязанное и неуложенное. А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых семнадцать верст в закрытой телеге. Подумай теперь, что могла я тебе написать в письме, в ответ на твое, полученное мною два месяца назад, и о чем писать? Сама я была в отчаянии; правду написать тебе не смела, потому что ты очень бы был несчастлив, огорчен и возмущен, да и что мог бы ты сделать? Пожалуй, еще себя погубить, да и Дунечка запрещала; а наполнять письмо пустяками и о чем-нибудь, тогда как в душе такое горе, я не могла. Целый месяц у нас по всему городу ходили сплетни об этой истории, и до того уж дошло, что нам даже в церковь нельзя было ходить с Дуней от презрительных взглядов и шептаний, и даже вслух при нас были разговоры. Все-то знакомые от нас отстранились, все перестали даже кланяться, и я наверно узнала, что купеческие приказчики и некоторые канцеляристы хотели нанести нам низкое оскорбление, вымазав дегтем ворота нашего дома, так что хозяева стали требовать, чтобы мы с квартиры съехали. Всему этому причиной была Марфа Петровна, которая успела обвинить и загрязнить Дуню во всех домах. Она у нас со всеми знакома и в этот месяц поминутно приезжала в город, и так как она немного болтлива и любит рассказывать про свои семейные дела и, особенно, жаловаться на своего мужа всем и каждому, что очень нехорошо, то и разнесла всю историю, в короткое время, не только в городе, но и по уезду. Я заболела, Дунечка же была тверже меня, и если бы ты видел, как она всё переносила и меня же утешала и ободряла! Она ангел! Но, по милосердию Божию, наши муки были сокращены: господин Свидригайлов одумался и раскаялся и, вероятно пожалев

Дуню, представил Марфе Петровне полные и очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности, а именно: письмо, которое Дуня еще до тех пор, когда Марфа Петровна застала их в саду, принуждена была написать и передать ему, чтоб отклонить личные объяснения и тайные свидания, на которых он настаивал, и которое, по отъезде Дунечки, осталось в руках господина Свидригайлова. В этом письме она самым пылким образом и с полным негодованием укоряла его именно за неблагородство поведения его относительно Марфы Петровны, поставляла ему на вид, что он отец и семьянин и что, наконец, как гнусно с его стороны мучить и делать несчастною и без того уже несчастною и беззащитною девушку. Одним словом, милый Родя, письмо это так благородно и трогательно написано, что я рыдала, читая его, и до сих пор не могу его читать без слез. Кроме того, в оправдание Дунни, явились, наконец, и свидетельства слуг, которые видели и знали гораздо больше, чем предполагал сам господин Свидригайлов, как это и всегда водится. Марфа Петровна была совершенно поражена и «вновь убита», как сама она нам признавалась, но зато вполне убедилась в невинности Дунечкиной и на другой же день, в воскресенье, приехав прямо в собор, на коленях и со слезами молила Владычицу дать ей силу перенести это новое испытание и исполнить долг свой. Затем, прямо из собора, ни к кому не заезжая, приехала к нам, рассказала нам всё, горько плакала и, в полном раскаянии, обнимала и умоляла Дуню простить ее. В то же утро, нисколько не мешкая, прямо от нас, отправилась по всем домам в городе и везде, в самых лестных для Дунечки выражениях, проливая слезы, восстановила ее невинность и благородство ее чувств и поведения. Мало того, всем показывала и читала вслух собственноручное письмо Дунечкино к господину Свидригайлову и даже давала снимать с него копии (что, мне кажется, уже и лишнее). Таким образом ей пришлось несколько дней сряду объезжать всех в городе, так как иные стали обижаться, что другим оказано было предпочтение, и таким образом завелись очереди, так что в каждом доме уже ждали заранее и все знали, что в такой-то день Марфа Петровна будет там-то читать это письмо, и на каждое чтение опять-таки собирались даже и те, которые письмо уже несколько раз прослушали и у себя в домах, и у других знакомых, по очереди. Мое мнение, что многое, очень многое, тут было лишнее; но Марфа Петровна уже такого характера. По крайней мере она вполне восстановила честь Дунечки, и вся гнусность этого дела легла неизгладимым позором на ее мужа, как на

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Андрей Степанов. Два великих романа Достоевского.....</i>	5
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ .....	29
ИДИОТ .....	523